

К ОДНОМУ БЕРЕГУ...

Борис РЯСЕНЦЕВ

ЕСТЬ на моем стеллаже заветная полка. Книжки на ней для меня — особенные: я помню их рукописями. За каждой из них я вижу автора в определенный, чаще всего — довольно давний период его жизни, его творческой биографии.

Две из этих книг лежат сейчас рядом со мной. Два романа Василия Шукшина. Точнее — оба его романа. Других никогда не будет...

Впервые увидел я с Василием Макаровичем у него дома — в поезде Русанова, недалеко от станции метро ВДНХ. Командировка эта была неожиданной, на редкость интересной.

Прочли мы в «Сибирских огнях» рукописи романа «Любавины», написали автору письмо, ждали его приезда для доработки. И вот телеграмма: приехать не сможет, началась работа на киностудии, просит прислать Рясенцева недели на две в Москву.

В первый же свой московский вечер я был у него. Узнал сразу: такой же, каким я видел его на экране в нескольких фильмах. Приезжал и еще не однажды к нему домой, встречались и в гостинице «Москва», где я тогда жил. Чаще беседовали вдвоем, раза два приходил Александр Иванович Смердов, приехавший вскоре на какое-то совещание. Включалась в беседы и редактор издательства «Советский писатель» Э. Мороз — отдельное издание готовило «синхронно» с журнальной публикацией, а не позже, как бывает обычно.

Я был удивлен — какой же энергией, творческой, нервной, да и просто физической, должен был обладать Шукшин: ведь он приезжал ко мне, иной раз поздно вечером, прямо с «Мосфильма», где шел монтаж (и, кажется, еще павильонная досъемка некоторых эпизодов) его первой как постановщика ленты «Живет такой парень». Приезжал, еще полный режиссерских и авторских соображений, связанных с сюжетом, ритмом, архитектурой картины, еще вновь и вновь анализирующий просмотренные кадры и их «сцепление». И требовалось колоссальным усилием воли переориентировать себя, переключить рычаг художественного воображения на совсем другой сюжет, иных героев, иную эпоху, психологическую атмосферу, ничем не схожую с той, вырваться из методов, закономерностей, приемов одного вида искусства в мир искусства другого.

И он делал это!

На моих глазах постепенно проходило утомление. И вот уже становилась динамичной, «обоюдоострой» беседа о той или иной сюжетной линии, о некоторых акцентах, о сокращениях и дописках.

С чем-то он сердито спорил, что-то категорически отвергал «с порога», с чем-то соглашался: «Ага, подумаю...»

А потом писал по ночам. Но и о завтрашней работе в студии, наверно, размышлял? Конечно!

Потом Василий Макарович прилетел на неделю в Новосибирск для работы над рукописью перед сдачей в набор. Дела в киностудии не позволяли ему отлучиться из Москвы надолго, а ведь он не мог еще не захватить в родные Сроки — к матери, к сестре.

В те дни, в частности, был написан довольно большой, многодневный по действию эпизод или цикл эпизодов в поле, на покосе. Это было одно из предложений редколлегии (показать и сложность, и поэтичность сельского труда), по поводу которого он еще в Москве обещал: «Ага, подумаю!..», но работу над ним отложил, записав себе для памяти одно слово на какой-то странице рукописи: «Покос».

Вся эта большая вставка создавалась Шукшиным прямо у нас в редакции, на Потанинской улице. Поселился он тогда у родственника, работать было не всегда удобно, и Василий Макарович спозаранку усаживался за стол — либо мой, либо А. И. Смердова (ключ он брал в условленном месте). Мы договаривались о встрече позже, скажем, в полдень, и не раз свеженаписанное шло «по конвейеру» на машинку. Однажды он сказал:

— Черт его знает, что-то на стихотворение в прозе смахивает... Не шибко, конечно, получилось, но чем-то мне это дорого. Вот послушайте... тут у меня начиркано, для машинки перепису.

И прочел вот это: «Костер потрескивает, выхватывает из тьмы трепетный слабый круг света. А дальше, выше, кругом — огромная ночь. Теплая, мягкая, гибельная. Беспокойно в такую ночь, без причины радостно. И совсем нестерпимо, что Земля, эта маленькая крошечка, летит куда-то — в бездонное, в непостижимое, в мрак, в пустоту. Здесь, на Земле, ворочается, кипит, стонет, кричит Жизнь... Зовут неугомонные перепелки. Шуршат в траве змеи. Тихо исходят соком молодые березки».

Прочел глуховатым голосом, покашливая. И без паузы, буд-то опережая возражения, прокомментировал:

— Скажете, что о ночном костре в поле сто раз писали. Великие писали? Понимаю сам. Но Кузьма-то, учителей племянник, — а дано это через него, — мог же он вот так все представить себе. И такими словами!

В общем-то мне действительно хотелось сказать, что написано все лирично, эмоционально, но язык здесь какой-то все-таки не своеобразно народный, не шукшинский, однако его аргумент меня сразу убедил.

— Земля здесь, наверно, с большой буквы? — спросил я. — Ведь Кузьма ее на миг вроде бы из космоса увидел, да? Два угла зрения...

— Во-во! — удовлетворенно подхватил он. — Значит, доходит. Но не только Земля, кстати сказать. Слово «Жизнь» тоже непременно с заглавной!

А когда я, возвращаясь к прочитанному им куску, сказал, что определение «гибельная» рядом с «теплой, мягкой» все же кажется мне именно для этого куска, для его настроения несколько нарочитым, искусственным, хотя и сообщает фразе хороший ритмико-интонационный импульс, он рассерженно возразил: «Ну, это вы бросьте!» Но если это соображение по поводу стиля Шукшина откинуло легко, не вступив даже в спор, то другое мое замечание опровергнуло аргументом сокрушительным.

Есть в большом эпизоде покоса такая сценка. Кузьма видит, что в стоящую под кустом зыбку ребенка заползла змея. Ни матери, ни кого другого рядом нет. Кузьма опрометью кидается к зыбке, хватая змею и выбрасывает ее. Лишь после этого, вне себя от ужаса, подбегает мать.

— Василий Макарович, знаете, вы только не сердитесь, пожалуйста, мне это, ей-богу, напоминает те приемы воздействия, которые часто используются в индийских фильмах. Не покажется ли и читателю змея в зыбке как бы цитатой оттуда? Чем-то придуманным специально для того, чтобы вызвать испуг, «вадарить по нервам»? Не боитесь этого?

Он досадливо бросил ручку на стол:

— Да какой тут, к шути, индийский фильм? При чем индийский фильм? Какая придумка? Да это я сам, понимаю, сам сделал-то! Подумаешь! Когда пацаном еще был, как раз во время покоса это и произошло, вот этими вот руками, — он покачал перед собой большие крестьянские ладони

с расставленными пальцами, посмотрел на них, — вот этими руками выхватил из такой зыбки змею. Их же в наших местах в иное лето до черта появлялось. А вы... то вы дело говорите, то эка вас куда закинуло! — уже улыбнулся он.

Мне только и осталось — тоже с улыбкой поднять руки:

— Сдаюсь! Пошли дальше. Случалось, мы устраивали перерыв, заходили пообедать в кафе «Спутник» возле главного новосибирского проспекта — Красного. Однажды еще за столом он сказал:

— Что-то утомление дурацкое не проходит, и голова немножко... Давайте сначала пройдемся, а потом уж в редакцию.

Мы пересекли проспект, Первомайский сквер, Советскую и мимо здания Дворца труда вышли на своеобразный бульвар или сквер. Здесь, совсем рядом с самым центром города, всегда охватывает удивительное ощущение загородной тишины. И он сразу это заметил. Шли медленно, часто останавливались, рассматривали деревья.

— Нарочно, что ли, их так кто-то выгнал да заштопоривал? — задумчиво говорил Шукшин. — Глядите, ну ни од-

ного московского двора за искалеченным голубем с любопытством наблюдают. Это, да?

— Тому еще и крылья повредило! Что это, а? Откуда? Ведь из таких малолетних мучителей, из этих бездушных существ могут, наверно, бандюги вырасти — вот что страшно-то. Вот о чем нужно думать и родителям, и воспитателям детских, и учителям, конечно. Да всем, в общем-то!.. Придет время, выскажусь на эту тему, не знаю еще как. Не детский ведь я литератор-то. Только об этом надо, по-моему, с особой силой написать. Шут его знает — как... Без соплей, без ахов, но и без всяких скидок на что-то. До сердцевин докопаться, откуда такое уродство моральное берется. Заметьте, не озорство, не чудачество, а именно уродство, именно — нравственное! Откуда растет и куда может вырасти? Когда-нибудь... попробую.

Не написал он этого. Не захотел? Не сумел? Или — не успел? Во всяком случае, в «Калине красной» о детстве мерзавца, убившего Егора, мы ничего не узнаем.

На обратном пути Шукшин был молчалив. Работалось в тот день плохо.

Дня через три он уезжал, и

но говорил Василий Макарович, вычитав три странички, срочно перепечатанные редакционной машинисткой, и, махнув рукой, протянул их мне: дескать, «была не была, пусть так!»

И эта концовка тоже не удовлетворяла его, но так он к ней и не вернулся: в лежащей передо мной книге, изданной «Советским писателем», да и в недавнем двухтомнике все осталось именно так, как было написано в Новосибирске.

А встречи интересные с этим человеком были еще. Но как мало!

Года через два после публикации «Любавины» Шукшин снова — проездом на Алтай — побывал в Новосибирске, оставил рассказы. И на вопрос, не тянет ли его к себе уже освоенная романная форма, ответил так: закончил большой сценарий о Степане Разине, отшлифует, займется надолго фильмом — сам будет ставить, сам сыграет Разина. Но порою за страницами сценария мерещится роман, надо бы еще и так высказаться на эту тему, а напишется ли — что ж, поживем — увидим.

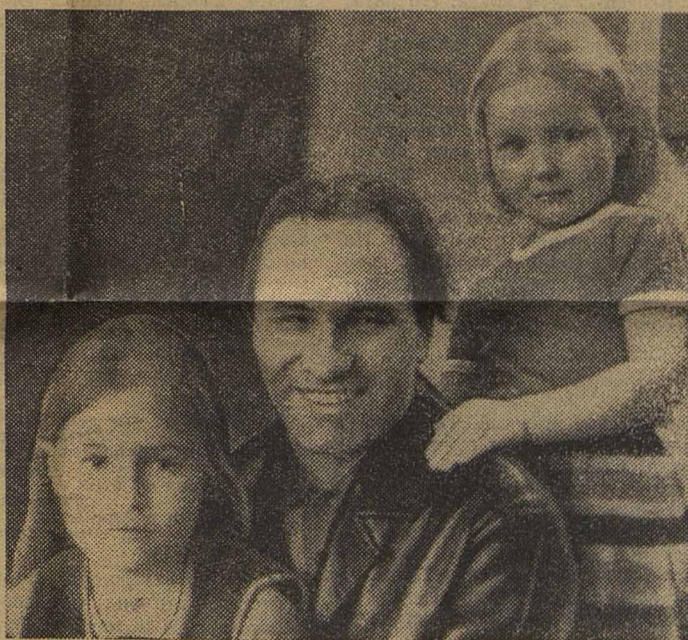
Меня заинтересовало и показалось неожиданным, что писатель и кинематографист, воплощающий образы людей сегодняшних, исследующий остро социальные и нравственно-психологические проблемы наших дней, лишь однажды «удалившийся» в начало советской эпохи («Любавины»), вдруг увлекся событиями трехсотлетней давности. И еще поразило меня сначала, откровенно говоря, то, что он сам собирается воплотить разинский образ.

По первому «пункту» я услышал, что ничегошеньки удивительного здесь нет — «все растет из прошлого». Но когда я шутиливо спросил, считает ли режиссер Шукшин, что актер Шукшин, так сказать, «накладывается» по внешним данным на представимый облик реального атамана, он ответил таким тоном, что я пожалел о своей не очень тактичной шутке:

— А-а, вот вы о чем. Не первый вы про это... Привыкли судить о внешнем облике Степана только по Сурикову. Та ли, дескать, у тебя фактура? Рост не тот. Вообще фигура не богатырская, не могучая, что ли. — Он взял уже не первую сигарету, закурил и, поманивая спичкой, поднялся, подошел к открытой форточке. — Обкуриваю вас тут, некурящего-то. — Щелчком, очень ловко метнул спичку за окно. — Фактура... А я его другим вижу. Самое простое крестьянское лицо. Крепкий, упористый. Не прет из него сила физическая. Спружиненная она у него. Внутри. Кулаком такой навернет — не позадоровит. Но не совсем уж — косяк сажень в плечах. А я его чувствую! Самое-то важное что? Дух его передать, характер. Нрав — вернее так определить. И показать, чего у него вот тут, — рукой с сигаретой он коснулся лба, — ворочается. Вообще — чем дышит. Без этого ни черта не получится! А я верю... — Помолчал, вернувшись от окна, адал окорок в пепельницу. — Должно получиться... Должно.

А я смотрел в это действительно «совсем простое крестьянское лицо», умные, пронзительные шукшинские глаза и... хотел увидеть на экране его Разина.

Но работа над фильмом откладывалась. И однажды Василий Макарович появился в редакции и положил на стол главного редактора... роман «Я пришел дать вам волю», названный так же, как и опубликованный на страницах журнала «Искусство кино» сценарий.



В. М. ШУКШИН с дочерью. 1973 г.

Фото В. ШАГОВА

ного же прямехонького. И тогда наклоненные, и... да во все стороны. Интересно, ей-богу. Вот, дескать, вы там, в прочих садах и парках, стройненькие растете, горделивые, а мы тут — нате вам, какие фокусы выкомариваем!

— И ведь все разные, каждое по-своему выгнулось. Такие, правда, есть и в Первомайском сквере, вы не обратили внимания, но здесь — все сплошь.

— А я о чем говорю-то, — усмехнулся он. — Верно, что каждое по-своему. Я бы так сказал: личности, индивидуальности. А? И ведь кривули, загогулины, а окинешь взглядом, схватишь вместе, ит-ты, красиво же, черт возьми!

Некоторое время мы шли молча, свернули к стороне. А Шукшин вдруг резко наклонился:

— Бедняга! Это кто же тебя инвалидом сделал? Придавило, что ли, чем-то?

Голуби, теснясь, подпрыгивая, клевали брошенные кем-то крошки, а один сизарь все ковылял вокруг, балансируя только с помощью крыльев. И я увидел: левая лапка у него — культя.

— Не-ет, тут, похоже, другое, совсем другое! — горестно и вместе с тем яростно произнес Василий Макарович. — Не отдавали, а... Вы слышали, Образцов про такие случаи рассказывает?

— Слышал. Мальчишки на

чем ближе подходил этот срок, тем заметнее обострялось его нетерпение.

— Скорей бы на родину! (Так он часто называл родной Алтай. — Б. Р.). Всегда для меня это большое событие. Подзарядка, что ли, внутренних батарей. Наверно, так. Корни там, понимаете? Корни!

Буквально накануне отъезда там же, на Потанинской, он дописал новый финал «Любавины». Дело в том, что по первоначальному замыслу роман заканчивался теперешней предпоследней главкой — мучительным паническим бегством Егора Любавина, который, страшась заслуженного возмездия, затравленно мчит на коне — в неизвестность, в бездомность. Обсуждали мы этот финал еще в Москве. Перед отъездом из Новосибирска Шукшин написал еще несколько страничек: «под занавес» перед читателем появляются Кузьма Родионов и кузнец Федя Байкалов, сельские активисты. Так возникла глава с заключительными романскими строками:

«... Что меня побил — это полбеды. Хуже будет, когда я побью. — И рука его, могучая рука кузнеца, притронулась к моему плечу городского парня. Свело же что-то этих непохожих людей!..»

Жизнь... Большая она, черт возьми!..

— Все-таки не то немножечко. Не то. Надо бы еще поработать над финалом, да некогда. Вечно некогда! — огорчен-

— У меня только вот такая просьба, — говорил Шукшин в кабинете А. И. Смердова, — побуду в родных местах дней десять, так вы уж успеете прочитать, чтобы я мог на обратном пути получить ответ совершенно конкретный.

Чтение мы организовали экстренное — «по конвейеру». К дню возвращения Шукшина было решено: печатаем.

Было это в 1970 году. Роман был напечатан в сокращенном варианте в самом начале 1971 года, и это совпадало с трехсотлетием со дня казни Степана Разина.

А летом 1973 года, уехав уже из Новосибирска, я позвонил ему в Москве по телефону. На счастье, застал дома — в трубке раздался хорошо знакомый голос. По тону его я сразу уловил: в хорошем настроении. Понятно, я сразу извинился, что отнимаю время, усиливаю «цейтнот», но Василий Макарович успокоил:

— Считайте, что повезло, полчаса назад закончил рассказик, сейчас в аккурат вроде антракта перед студией.

Поинтересовался, давно ли я из Новосибирска, что там нового. После нескольких общих фраз я спросил: верно ли, что работа над фильмом о Разине совсем близка?

— Порядок! — воскликнул он. — Скоро в издательстве выходит роман, но книга книгой, а главное вот что. Закончу «Калину красную» монтировать... Знаете, эта лента мне тоже дорога, какжись, что тут и актерки что-то путное получилось. Неужели ошибаюсь? Так вот, отдохну от режиссуры, снимусь в двух фильмах, а потом...

— Извините, — перебил я, — а какой второй фильм? Первый-то «Они сражались за Родину», да?

— Ага. Там актерская работа по материалу очень богатая и нелегкая. А интересно! Шолохов же... Хорошо, что с Бондарчуком мы с полуслова друг друга понимаем. Дьявольски это важно. А другой фильм Глеб Панфилов делает. На «Ленфильме». Называется «Прошу слова». Вот снимусь, потом, значит, немножечко дам себе отдых от «юпитеров», от крупных и общих планов, от всего этого, в общем, и... вплотную к «Разину».

Я поздравил его и спросил, каковы планы писательские.

— Писательские-то? — Он помолчал, вздохнул (это было четко слышно в трубке). — Да понимаете, разбрасываться я стал, ну, напропалую. Вернее сказать, не разбрасываться, а раздваиваться. — И вдруг рассмеялся коротко и, пожалуй, сердито: — Немножечко не то слово. Не стал раздваиваться, а острее, больнее как-то стал ощущать, что сколько уж лет этим как раз и занимаюсь! Вот штука такая. Письменный стол — актерские пробы, экспедиции, съемки, монтаж, просмотры...

— Василий Макарович, и еще, наверно, немало связан-

ных со всем этим побочных дел, да?

— Побочных, говорите? Ого-го сколько! Но стол-то, он ведь тоже своего требует. И то охота написать, и это, а черт его знает, сутки, что ли, укороченные стали? — И опять слышался в трубке вздох.

— А вы думали о том, — спросил я, — сколько людей с удовольствием «раздваивают» свое внимание, свою заинтересованность на обоих Шукшинах?

— Комплименты, положим, бросьте, не с красной девицей балагурите! — без всякой шутильвости в интонации отозвался Шукшин. (До сих пор не пойму, почему он так прореагировал на те мои слова!)

— Нет, серьезно, Василий Макарович, не один же я в этом убежден. Это помните, как у Залыгина один кузнец сельский говорит учителю, который написал рассказ, а когда увидел его в газете, раскаялся: «Перышко-то, которым пишут, — говорил кузнец, — невелика штучка, а весит!.. Нет, брат, назад тебе никто не даст хода!».

— Где-где это у него? — быстро спросил Шукшин. — Крепенько сказано. «Перышко-то невелика штучка, а весит!..» — как-то вкусно смакуя чужие, но, видимо, очень близкие ему слова, повторил он. — Слышал, поди, сам от деревенских-то. Только там так вот сказануть могут. Ч-черт! Здорово... Э-эх, мало мы все-таки читаем друг друга. До чего же мало!

— Сами же говорите, писать и то урывками приходится.

— Не оправдание это! ...Так где это у Залыгина?

— Давний рассказ. Называется «Первый шаг».

— Да, надо, надо больше читать друг друга... Я вот что скажу. От перышка-то да еще от машинишки, что на столе, я сам себя ни за какие не отпущу. А что касается кинокамеры, павильонов и всего тако-го... — откашлялся, будто першило в горле. — Вот поставлю своего «Разина»... сыграю, смонтирую... долго это еще, долго... Ну, а когда выйдет фильм — все. К одному берегу прибуду. К столу.

Мы простились. О конкретных планах литературных он так ничего и не сказал. Не сказал и о появившейся тяге к драматургии, к театру.

Думаю, более того — убежден, что вовсе не мне лично уделил он тогда столько времени по телефону. Вернее, не только мне, — разговор с сибиряками, вероятно, вызывал у него душевно близкие ассоциации, помогал как-то соприкоснуться к навсегда родным сердцу краем, рождал где-то подспудно воспоминания о юности, о детстве. О «корнях».

Как явственно помню я этот голос, звучавший тогда в телефонной трубке во время самой последней моей беседы с ним...

ЛЕНИНГРАД